

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

Мой Чехов осени и зимы 1968 года

Я знаю серьезных людей, которые не любят Чехова. Я не разделяю их взглядов, но отношусь с пониманием к их литературным вкусам. Пушкин начал, а Чехов кончил, и, естественно, на творчестве Чехова лежит печать не только величия, но и вырождения, так как всякое живое явление имеет свою жизнь и свою смерть. Чехов умер раньше Льва Толстого, но именно Чехов подытожил духовный взлет Российского XIX века, да, пожалуй, и духовный взлет всей европейской культуры — эпоху Возрождения, юность свою проведенную в живописи Италии, Испании, Нидерландов, молодость в шекспировской Англии, зрелые годы в музыке и философии Германии, и наконец, уже на излете, уже как бы последними усилиями родившую российскую прозу, на которой лежит подспудный отпечаток усталости и чрезмерных напряжений, свойственных всякой старости, отпечаток старческого ребячества, детской чистой мечты, щемящей грусти по ушедшим годам, наивной веры и мудрой иронии.

В XIX веке мир, благодаря вышедшей из подполья науке, принимал твердые очертания. Религия, опасаясь жестокой мести со стороны своего извечного врага — науки, которой причинила столько страданий, суетливо пыталась приспособиться к меняющейся жизни. Люди XIX века за многие века истинной веры, за опозоренную религией в период своего господства мечту, досадуя на свою доверчивость, которая отняла у них столько земных радостей, начали лихорадочно наверстывать упущенное. Но рядом с атеизмом, научным материалистическим мировоззрением, родилось безверие, мировоззрение не духовно свободных людей, а скорее непокорных лакеев.

Несравненный Стендаль написал Жюльена Сореля, образ, на мой взгляд, этапный, ибо если на вырождение веры потребовались тысячелетия, то на вырождение безверия потребуется значительно меньше времени. Через какие-нибудь 40-50 лет после того, как Стендаль родил Жюльена Сореля, австрийский сапожник Шикльгрубер родил Адольфа Шикльгрубера, а Достоевский — Смердякова. Вот какой жалкий путь в короткий срок проделала талантливая натура Жюльена Сореля, съедаемая внутренним огнем собственной неполноценности. Все лучшее, чувственное, благородное сгорело в этом огне, рассыпалось золой, остался остов, крепкий, не горячий: желание возвыситься и простые, ясные материальные средства к этому. Миллионы обманутых посредственностей, честных обывателей, из поколения в поколение тянущих свою лямку, теперь жаждали мести, и индустриальное капиталистическое общество сулило им равные возможности. Эту-то механизированную армию атаковала в конном строю на нелепом Россинанте российская проза; атаковала базрассудно, по-

гусарски, под часто путанными нелепыми знаменами-идеями. Наступило время, пробудившее не только трудовой народ, но и лакеев, сделавших испокон веков плевки в собственное лицо профессией, дающей хлеб насущный, и теперь жадно потянувшихся к свободе выпестованной человеческим гуманизмом, чтоб, оседлав эту свободу, восстановить историческую справедливость, иметь возможность самому плевать в лица и своим бывшим поработителям, и своим менее расторопным братьям. Наступило время, когда хилые баре - вырожденцы, впад чересчур поздно в душевные мученья, словно в старческий маразм, передавали власть злопамятным смердяковым.

У Карла Маркса есть высказывание, я не помню его дословно, но это общеизвестные, часто цитируемые слова, примерно они звучат так: невежество — фатальная сила, и она еще послужит причиной многих трагедий. Мне кажется, что часто растерянность и беспомощность перед этой силой состоит в том, что, совершая ужасающее преступление, она в то же время вызывает к себе не только ненависть и не столько ненависть, сколько невольную жалость, пусть подсознательно, и это ослабляет ответный удар. Если попытаться образно представить себе символ невежества, то это будет не хищный кровожадный зверь, а скорее большой, не по летам фантастически сильный, слепой ребенок. Он сам падает, разбивает себе в кровь лицо, испытывая боль, бьет с размаху неодушевленные предметы, но коль уж удастся ему нащупать, схватить что-либо живое, тут уж мольбы о пощаде бесполезны, в святой простоте он сжимает пальцы на горле жертвы, не отвергая мольбы о пощаде, а попросту не осознавая их, в том смысле, что они даже приводят его в удивление, как удивила бы его мольба не есть, не пить и не испражняться. Но для того, чтобы невежество выросло в прямую угрозу жизни и цивилизации, ему нужен поводырь. И как это ни парадоксально, поводырем таким для невежества служит букварь. Первоначальная, крайне необходимая ступень образования чревата одновременно опасностями, свойственными незрелому переходному возрасту. Научившиеся читать и расписываться невежества периода промышленной революции, по крайней мере сливки его, дослужившиеся до лакеев, начали осознавать прелесть господства и барства, дающую возможность для сытой, вкусной жизни.

«Фашизм и национал-социализм, — пишет Ромен Роллан, — развязаны крупными авантюристами, вышедшими из низов и из разорившейся мелкой буржуазии. Эти авантюристы держат в вечной тревоге своих «благодетелей» благодаря своим прежним связям с миром труда и нищеты».

Благородный романтический авантюризм Жюльена Сореля стал авантюризмом кухонным, бытовым, стремящимся вырвать жирный кусок колбасы изо рта имущих. Роллан писал о национал - социализме в 30-е годы, когда лакеи повели обезумевшего от голода и нищеты слепца мстить, но главным образом за все синяки и шишки, которые он, слепец,

набил сам, ударяясь о косяки и цепляясь за пороги. А также повели выкалывать глаза разуму и образованности.

Но вернемся на 30 лет назад от этого времени в еще полупатриархальную Россию, к не очень громкому, маленькому и нехрестоматийному рассказу Антона Павловича Чехова «Новая дача». Рядом с нищей, убогой, голодной деревней инженер-путеец построил красивую дачу и привез туда жену и дочь. Инженер и жена его стараются сделать как можно больше добра крестьянам, но эти в сущности такие добрые и тихие люди ненавидят и не понимают своих благодетелей, ломают деревья в их саду, совершают потраву скотом своим, топчут все, что можно, воруют, жгут, издеваются над попытками и просьбами жить мирно, по-соседски, и в то же время, когда на даче появляется новый хозяин, презирующий их, они живут с ним тихо, уважительно. Здесь не может быть односложного вывода, тем более вывода о кнуте и страхе. Разгадка здесь не во внешних взаимоотношениях, а во внутренней природе угнетенного человека. Первая реакция человека, подавленного несправедливостью, на свободу и добро — это не радость и благодарность, а обида и злоба за годы, прожитые в страхе и узде. Разумеется, это временный и преходящий период, сопровождающий естественный, а значит, прогрессивный ход истории, крайне незначительный в масштабах человечества, но чрезвычайно значительный в масштабах человеческой жизни и жизни нескольких человеческих поколений. Это болезненный многовековой процесс, начавший созревать в конце XIX века и давший плоды свои в зеке XX. В болезненной злобной реакции из первые, слабые еще ростки свободы причина многих трагедий XX века.

Да, неуютно жить в мире, где на непорядочность отвечают непорядочностью. Вот в чеховской «Новой даче» собирается толпа, придравшись к мелкой оплошности со стороны хозяев дачи:

«— Ладно, пускай! — говорит Козов, подмигивая. — Пуска-ай! Пускай повернутся инженеры-то... Суда нет, думаешь? Ладно...

— Это так оставить я не желаю! — кричал Лычков-сын, кричал все громче и громче, и от этого, казалось, его безбородое лицо распухало все больше и больше. — Моду какую взяли! Дай им волю, так они все луга потравят! Не имеете полного права обижать народ! Крепостных теперь нету!..

Вечером инженер прислал за потраву пять рублей. Получив пять рублей, Лычковы, отец и сын, староста и Володька переплыли на лодке реку и отправились на ту сторону и долго там гуляли. Было слышно, как они пели и как кричал молодой Лыч-ков. В деревне бабы не спали всю ночь и беспокоились. Родион тоже не спал.

— Нехорошее дело, — говорил он, ворочаясь с боку на бок и вздыхая. — Осерчает барин, тягайся потом... Обидели барина, ох, обидели, нехорошо». Несколькими страницами далее Родион говорит испуганной и осмеянной толпой жене инженера:

«— Не обижайся, барыня... Ты терпи... Года два потерпи... Поживешь тут, потерпишь и все обойдется. Народ у нас хороший, смиренный... Народ

ничего, как перед истинным тебе говорю... На Козова, да Лычковых и на Володьку не гляди, он у меня дурачок, кто первый сказал, того и слушает... Прочий народ смиренный, молчит... Иной, знаешь, рад бы слово сказать, по совести вступиться, значит, да не может. И душа есть, и совесть есть, да языка в нем нету... Не обижайся, потерпи... Чего там!».

Здесь, пожалуй, Родион ошибается, большинство молчит не потому, что у него нет языка, а потому, что не оно выражает тенденцию времени и явлений. Суть же времени — это хилый, мучаемый комплексами вырожденец и злобный разбушевавшийся лакей. Эти две силы и по сей день грозят миру большими бедами.

Я позволю себе оставить великолепный, истинно по-чеховски грустно-радостный, финал рассказа «Новая дача» на закуску и поговорить о нем особо, а сейчас перейти к одному из наиболее страшных и глубоких крестьянских рассказов Чехова «В овраге».

Большой налаженный крепкий дом разбогатевшего выходца из низов Цыбукина. Пугает в этой повести главным образом не активная ясная жестокость жены младшего сына Цыбукина Аксины, а соседствующая с ней коровья, покорная жестокость Липы, жены старшего сына, слепая, не человеческая, а природная, как жестокость вулкана, который, отгремев, затихает и вновь покрывается травкой. Эта спасительная способность выжить хороша для плоти, которая ближе к природе, но губительна для души. Слепая природа пассивно враждебна человеческому сознанию, в борьбе с ней это сознание развивается и крепнет. Я склонен согласиться с сутью при некоторой спорности формулировки одного из философов прошлого, заявившего, что «жизнь есть форма болезни материи». Чем ближе человек к природе, тем легче ему выжить, но тем труднее ему остаться человеком в силу возложенного на него естественным развитием жребия. Выполнив миссию не всегда даже для человека ясную, лишь тогда можно вновь слиться с природой по смерти своей. При всем при том пассивная враждебность человечности опаснее враждебности активной, преступления активной враждебности кровавы, но враждебность эта живая, а следовательно] смертная, пассивная же враждебность не столь ясно выражена, бескровна, природна, но она способна ждать и побеждает человеческое в человеке не силой, а терпением.

«Дни в доме Цыбукиных проходили в заботах. Еще солнце не всходило, а Аксиныя уже фыркала, умываясь в сенях, самовар в кухне гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий! Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких ярких сапогах, такой чистенький, маленький, похаживал по комнатам и постукивал! каблучками как свекор-батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали к крыльцу беговые! дрожки и старик молодцевато садился на них, надвигая свой большой картуз до ушей, и, глядя на него, никто бы не сказал, что ему уже пятьдесят шесть лет. Его провожали жена и невестка, и в то время, когда был хороший чистый

сюртук и в дрожки был запряжен громадный вороной жеребец, стоивший триста рублей, старик не любил, чтоб к нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами, он ненавидел мужиков и брезговал ими и, если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно:

— Чего стал там, проходи дальше!

Или кричал, если то был нищий: «Бог дасть!».

Но вот в доме Цыбукина столкнулись две бесчеловечные силы. Одна активная, полнокровная, из породы рвущихся к сладкому лакеев, — Аксинья, вторая пассивная, бледная, по-коровьи тупая Липа, жена старшего сына, осужденного в городе за подлог. Тихая Липа, обороняющая свою жизнь покорностью и темнотой. Аксинья «красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и с зонтиком» и путавшаяся с сыновьями фабриканта. Липа «худенькая, слабая, бледная, с тонкими нежными чертами, смуглая от работы на воздухе, грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица и глаза смотрели по-детски доверчиво и с любопытством». Жестокое обвинение в бесчеловечности совершенно навязывается, казалось бы, с этим кротким существом. Но вот Аксинья, умеющая читать по букварю и знающая начальную арифметику для расчетов в лавке, хладнокровно убивает младенца, любимое дитя Липы, чтоб избавиться от чужого наследника.

«Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна Липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье... На полу еще была куча немытого белья и около него, задирая красные ножки, лежал Никифор...

— Отдай сюда, — проговорила Аксинья, глядя на нее с ненавистью, и выхватила из корыта сорочку, — не твое это дело мое белье трогать! Ты арестантка и должна знать свое место, кто ты есть.

Липа глядела на нее, оторопев и не понимая, но вдруг уловила взгляд, который та бросила на ребенка, и вдруг поняла и вся помертвела.

— Взяла мою землю, так вот же тебе!

Сказавши это, Аксинья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве, и не верилось, что такое небольшое слабое существо, как Липа, может так кричать...».

Мальчик умер. Аксинья завладела хозяйством, выгнав Цыбукина и Липу на улицу. Проходит некоторое время. Осень. Девки и бабы толпой возвращаются со станции, где они работали. «Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился и можно отдохнуть. В толпе была ее мать Прасковья, которая шла с узелком и, как всегда, тяжело дышала...».

Говорят, время лечит. Все верно, но так высок трагизм, я не говорю — мыслящее, просто одушевленное существо, пожалуй, не могло бы спуститься живым и неповрежденным с этой высоты страдания, на которую было поднято. Здесь же все напоминает не лечение временем, а скорее

смену времен года. Царит зной, и неодоушевленная природа с силой, которой может позавидовать любой живой темперамент, отдается жаре, затем наступают холода, и ни тени прошлого зноя, все сковано стужей, всюду лед и ветер, проходит зима, и все цветет, все ярко и весело.

Подошел старик Цыбукин «Липа поклонилась низко и сказала:

— Здравствуйте, Григорий Петрович! — и мать тоже поклонилась.

Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали, глаза были полны слез. Липа достала у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть...»

Цыбукина можно назвать палачом-жертвой. Липа не палач, но и не жертва, хоть над ее материнством страшно и гнусно надругались. Разные живые существа защищают себя по-разному, одни при помощи зубов, другие при помощи ног, третьи же защищают себя, сливаясь с окружающей местностью. Но характерна ли эта неподвижная, идеально лишенная комплексов фигура для нашего быстротекущего нервного времени? Это не то, что мы именуем равнодушием, ибо равнодушие — определенная человеческая позиция, которую можно распознать и осудить. Здесь же и осуждать нечего, опираясь на бытовую расхожую мораль, и если я осудил это, то поторопился.

В рождении человека по-прежнему много таинственного и неясного не в биологическом смысле, а в смысле формирования в нем духовного начала. Как ни опасны вырожденцы, они вымрут, сколько бы бед еще не принесли человеку кровавые смердяковы, они будут уничтожены ходом истории, но покорное бесчеловечное начало, в том смысле бесчеловечное, что подчиняется оно не живым страстям, неразрывно скрепленным памятью, а законам неодоушевленной природы, все явления которой как бы начинают с нуля, это лишенное добра и зла начало, пожалуй, является эпицентром той фатальной силы, о которой говорил Карл Маркс, и на разных флангах которой находятся вырожденцы и смердяковы.

Трудноуловимое, редко видимое в чистом виде, оно составляет, пожалуй, не зло, а тяжелую ношу на спине человечества. Может быть, это та пуповина, которая соединяет человека с природой или, вернее, приковывает человека к природе, делая его более живучим, но и более слепым, и которую наука уже давно дерзко и тщетно пытается перегрызть, впрочем, достигнув и определенных успехов, многое познав, но тем самым укоротив жизнь, не человека, разумеется, ибо цивилизация делает жизнь человека более прочной, а человечества в целом, которое, не будь достижений разума, еще чрезвычайно продолжительно прозябало бы в спячке, подчиняясь главным образом смене времен года. Это проблема Фауста, но не для человека, а для человечества. Чем более человек познает, тем прочнее станет его жизнь, но жизнь человечества в целом сократится. Впрочем, речь, возможно, идет не о десятках и сотнях лет, а о тысячелетиях, и осенью—зимой 68-го года это должно волновать исключительно как тенденция, а не как непосредственная угроза. Но тенденции, даже тенден-

ции будущего, пусть косвенно, не просто, подчас неожиданно оказывают влияние и на сегодняшнюю жизнь, и в этом смысле их надо учитывать и о них надо думать.

Чехов был избран судьбой завершить целую эпоху в культуре России именно потому, что он был лишен патологической условности мировосприятия, делающей человека рабом определенной идеи, каковыми были Достоевский и Лев Толстой. Человечество, так же как и культура его, движется от догмы через ее разрушение к новой догме. Догмы-идеи — это необходимые узлы на пути истории. Рядом с великими догматиками Достоевским и Толстым Чехов был великим реформатором, а этот тяжелый труд гораздо более неблагодарен, гораздо более лишен цельности и требует не в упоении отдаваться любимой идее, а наоборот, жертвовать подчас любимой идеей во имя истины. И если Гоголь, Достоевский и Толстой, пожалуй, Дон-Кихоты российской прозы, то Чехов скорее ее Гамлет. Гамлет и Дон-Кихот, будучи людьми одной чувственной организации, совершенно по-разному использовали эту чувственность в жизни. В сущности, Гамлет — Дон-Кихот, сумевший отбросить иллюзии и имевший мужество отдаться своей чувственности наяву, то есть постигнуть истину. Главная причина его трагедии не в том, что неясные страсти терзают его и мешают расправиться с убийцей отца. Проблема не в том — «быть или не быть», — а в том, что он слишком рано понял то, что согласно законам природы следует понимать за секунду до смерти: быть и не быть одинаково нелепо. Главная трагедия в том, что он, сгусток бушующих страстей, понял бесплодность страсти и жаждал хладнокровия. Разрываемый этими двумя противоречиями, он умер. Дон-Кихот же всю свою громадную чувственную энергию использует прямо противоположно, чтоб фактически спастись от истины и тем самым сохранить счастье. Оба начала, познание истины и спасение от истины, дополняют друг друга и составляют основу духовной жизни человека. Споры, которые ведут персонажи у Толстого, у Достоевского и у Чехова, одинаково страстны. Но у Толстого и Достоевского всегда кто-либо в конечном итоге оказывается прав, и, если это не получается средствами художественными, они вмешиваются сами, ломают художественную форму, калечат подчас и доводят до примитивных схем свои произведения, чтоб сохранить торжество идей, счастливыми рабами которых они являлись. Споры чеховских героев часто оканчиваются неопределенно. Это не значит, что у Чехова не было своих, в сердце выношенных идей, не было любви, не было ненависти, не было привязанности, но Чехов никогда не позволял себе жертвовать истиной, пусть во имя самого желанного и любимого, ибо у него было мужество к запретному, к тому, что не хотело принимать сердце и отказывался понимать разум. Чеховская проза спешила с Россинанта и атаковала врага в пешем строю пешком по грязи и пыли.

Франц Кафка писал: «Одной из задач национальной литературы является очищающий показ национальных недостатков». Настоящий Чехов, Чехов позднего периода, был писатель необычайной трагической силы, но благодаря его кристально честной объективности, национальные недостатки — русские ли, не русские ли — никогда не превращались в карикатуру, до чего сплошь и рядом позволял себе опускаться Достоевский. И не опьяняющий восторг собственной души, не субъективная жажда красоты и счастья, а как раз эта кристально честная гамлетовская объективность и к себе и к людям рождала иногда вдруг и подчас в самом неподходящем для этого месте такой свет, такую веру в душу человека, такую любовь, что все ужасы бытия освещались поистине неземным, чистым прометеевым огнем. Когда я говорю о гамлетовской объективности, то имею в виду объективность не внешнюю, действенную, а внутреннюю, чувственную, разрыв между которыми и составляет трагедию.

Вот финал рассказа «Новая дача». Была ненависть самая страшная, идущая не от конкретных причин, а от внутреннего раздражения и от подспудной обиды на себя, на собственную судьбу, было желание истоптать, сломать этот красивый, чистый дом и сделать все вокруг таким же жалким, темным, грязным, голодным, каким была их жизнь, было наслаждение собственной несправедливостью, которой толпа платила за оскорбительное добро. Теперь все кончено, все позади.

«Новая дача давно продана, теперь она принадлежит какому-то чиновнику... У него на фуражке кокарда, говорит и кашляет он как очень важный чиновник, хоть состоит только в чине коллежского секретаря, когда мужики ему кланяются, то он не отвечает... Ранней весной обручановские пилят дрова около станции. Вот они после работы идут домой, идут не спеша, друг за другом; широкие пилы гнутся на плечах, отсвечивает в них солнце. В кустах по берегу поют соловьи, в небе заливаются жаворонки. На новой даче тихо, ни души и только золотые голуби, золотые оттого, что их освещает солнце, летают над домом. Всем — и Родиону, и обоим Лычковым, и Володьке вспоминаются белые лошади, маленькие пони... Вспоминается, как жена инженера, красивая, нарядная, приходила и так ласково говорила. И всего точно не было, все, как сон, как сказка. Они идут нога за ногу, утомленные и думают...

— Жили без моста, — говорит Володька мрачно. — Жили мы без моста и не просили... И не надо нам...

Ему никто не отвечает и идут дальше, понутив головы».

Рассказ, где так много несправедливости, шума и улюлюканья толпы, оканчивается удивительно мягкой тишиной, тревожной и сладкой, свойственной милосердию. Милосердие — прекрасные мгновенья примирения извечных соперников-врагов, слепой природы — истины и алчущей души. Это крошечные золотые крупички, и ради поисков этих крупичек, может, и существует искусство, и находками их судьба вознаграждает

именно тех художников, кто не пытается односторонне и безоговорочно осудить истину за ее чрезмерную жестокость и несправедливость к человеку, а венцом этой несправедливости является неизбежная смерть. Сохранить оптимизм и самообладание под любыми пытками, которым подвергла доверчивого человека изобретательная истина, и подобно великому образу библейского Иова петь ей хвалу, — высшая точка подъема упрямой, жаждущей счастья, во что бы то ни стало души.

Природа – истина, побежденная жаждой и силой человеческих желаний, как бы сама начинает чувствовать человеческие слабости и стремится им покориться, но человеческая душа великодушно не пользуется благами победы, добытой в жестокой схватке, а наоборот, утрачивает желание и жаждет лишь покоя. Это мгновение, которое Сократ называл «затишье души». С тех давних времен, как человечество утратило хвост, оно мучительно искало идеал, который бы можно было противопоставить пещерному идеалу силы, ибо подспудно чувствовало, что идеал этот, спасший человечество от насильственной гибели извне, сулит в будущем насильственную гибель изнутри. Две тысячи лет назад некий сын плотника, прозябавший до того в неизвестности, понял, что человечество сможет существовать при растущей тенденции к самоутверждению лишь при соблюдении справедливости к слабым. В ранний западный период эпохи Возрождения это было понято искусством, в поздний российский период это было выстрадано. Западное искусство дало образцы великолепной пластики, филигранного психологизма, головокружительной глубины, и если именно российская проза XIX века сумела блистательно завершить великую эпоху, то исключительно за счет неподдельного, искреннего страдания, сумевшего вдохнуть живую боль земного современного человека в великие библейские схемы. Живую боль и связанную с этой болью надежду и радость, которая может достичь подлинной высоты и правды, лишь завершая и сменяя искреннюю боль, как рассвет достигает правды, лишь сменяя подлинную ночь. Без этой сочащейся кровью души и живой жажды к избавлению от страданий Гоголь был бы сладенький провинциальный зубоскал, Достоевский скучный беллетрист, Толстой философствующий сочинитель с небрежными длинными фразами, а Чехов поставлял бы чтиво любителям приятного времяпрепровождения. Справедливость к слабым, справедливость тенденциозная, этим она отличается от мирящей добро и зло древнегреческой Мойры — вечной объективной справедливости. В подчинении этим двум враждующим началам состоят главные художественные и философские трудности и беды искусства эпохи Возрождения, трудности, которых не знало античное искусство. Причем с развитием человеческой истории, с ростом идеалов гуманизма и -добра трудности эти не только не уменьшились, а наоборот, возросли, ибо чем выше подымался человек по лестнице гуманизма и прогресса, тем сильнее становилась жажда достичь безразличной объективной справедливости

природы; это вело к чрезмерным надеждам, а отсюда неизбежно и к чрезмерным разочарованиям. Такие тенденциозные писатели, как Достоевский и Толстой, поступали просто: они начисто забывали о наличии объективной справедливости, и мощной глубокой веры в их творчестве было больше, чем ясной земной правды. Чехов же не мог облегчить свой труд подобной слепотой, часто свойственной гениям. Есть известная закономерность в том, что Гомер был слеп. К Чехову же скорей можно отнести определение, данное Роменом Ролланом Гамлету: «Горе с орлиными глазами». Природа таланта Чехова была иная, и тем, что он не мог отбросить объективную справедливость, объясняются слабости Чехова. Но именно рядом с этими слабостями, имея с ними общие корни и даже подчас заслоняемая ими, выросла чеховская мощь. Чехов не высекает титанов, не создает страстную, путаную горячку идей, из которых в конечном итоге выплывает одна, заранее намеченная и безумно любимая, и не творит подобно Толстому кротких гигантов человеческого духа, властвующих над надуманным евангелическим миром. Чехов до конца соблюдает масштабы между человеком и природой, что на языке иных критиков именуется пессимизмом и неверием в конечную победу. Чехов искал в жизни до предела, до мелочей реальной правды, правды, которая была бы осязаемой, как скучный подмосковный дождь осенью, от которого никуда не денешься в этой жизни, он искал не путей к конечной великой победе, теряющейся в туманной дали, а ежедневных бытовых великих побед, которые удастся одержать человеку в повседневной жизни. И когда чеховская героиня восклицает ставшей хрестоматийной фразой: «Мы еще увидим небо в алмазах!» — то речь здесь идет не о какой-то астрономической гигантской победе будущего, ибо в подобном случае восклицание звучало бы бравурным лихим лозунгом. Речь здесь идет о той конкретной победе, одержанной в момент произнесения фразы человеком усталым, обманутым, смертным, далеким от неба, победе над предлагаемыми ему обстоятельствами, над провинциальной убогостью и собственными разочарованиями. Фраза же могла быть и иной, не в ней суть.

Чехов обладал талантом отыскать счастье в неожиданных местах, для того не приспособленных, и находить добро там, где другой не стал бы искать, в ситуациях для добра чрезвычайно неподходящих. Поэтому в современном мире, где чересчур много не фанатично монолитной веры, а скорее наоборот, фанатичного безверья и рыхлости, - где нашей человеческой морали приходится иметь дело не только с твердо убежденным противником, но и с путаными силами, направление которых бывает противоположно, призрачно и неясно, в этом мире особенно нужен Чехов, чеховское умение одерживать повседневные тактические победы, а не запрокинутую голову, как это делали великие слепцы, игнорируя землю стремиться к небу, к всеобщей стратегической победе, теряющейся в грядущем.

У Чехова есть крошечный, на две странички рассказ «Письмо». Вот строки оттуда: «Пожалуйста, прочтите книгу... с каждой новой страницей я становился богаче, сильнее, выше! Я изумлялся, плакал от восторга, гордился и в это время глубоко мистически веровал в божественное происхождение истинного таланта, и мне казалось, что каждая из этих могучих стихийных страниц создана не даром, что своим происхождением и существованием она должна вызвать в природе что-нибудь соответствующее своей силе, что-нибудь вроде подземного гула, перемены климата, бури на море...». И далее: «Поэзия и беллетристика не объяснили ни одного явления! Да разве молния, когда блесит, объясняет что-нибудь? Не она должна объяснять, а мы должны объяснять её... Поэзия и все так называемые изящные искусства — это те же грозные чудесные явления природы, которые мы должны научиться объяснять не дожидаясь, когда они станут сами объяснять нам что-нибудь».

Чехов, как и другие великие создания человеческого рода, есть явление независимое от нашего сознания, подобно морю или луне. Человек может стоять задумчиво на берегу моря, либо весело плескаться в волнах, либо топиться, либо рыбачить, либо добывать из морской воды минеральные соли. Море одно, и в нем есть все, но нелепо обвинять человека в односторонности и тенденциозности, когда он ищет в море для себя не все сразу, а то, что необходимо только ему и необходимо не вообще, а конкретно в данный момент. Я не собирался анализировать творчество Чехова. Я рассказал о том Чехове, который нужен именно мне, и таком Чехове, который нужен мне именно сейчас, осенью — зимой 1968 года. Этими буйными, истеричными осенью и зимой, когда сила и злоба разбойничают во всех углах нашей маленькой планеты, а милосердие, добродетель и душевную деликатность пытаются представить явно ли, тайно ли как признак чахоточной телесной хилости и подвергнуть всеобщему осмеянию.

Всякий раз, когда милосердию нужны были рыцари, они появлялись, конные ли, как Дон-Кихот, пешие ли, как Гамлет. Нежное женственное милосердие и на этот раз будет защищено от мускулов и сапог честолюбивых лакеев, от острых аристократических тросточек спившихся бар, от рогожного, бесчеловечного терпенья и хохотунов-телеграфистов с гитарами, пытающихся формировать общественное мнение. И мягкий, добрый, деликатный Чехов в этой борьбе будет безжалостен.